«чредой слетает сон, чредой находит голод;/Легко и радостно играет в сердце кровь», но: «чувства, ум тоскою стеснены», «Я сладко усыплен моим воображеньем,/И пробуждается поэзия во мне,/Душа стесняется лирическим волненьем»). Эти органические силы в «Осени» оказываются настоящими субъектами действия и, как правило, более активными, чем «я». Так, в характерной конструкции «я снова жизни полн» акцентирована именно «жизнь», тогда как «я» — ее вместилище, если не медиум. «Страдательность» «я» и активность «живой жизни» в нем особенно заметны при описании творческого акта: в субъектно-образной структуре этого места по-пушкински имплицитно содержится то, что найдет емкую поэтическую формулу в XX в. у Тициана Табидзе (в переводе Б. Пастернака): «Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут/Меня...».

В таком контексте «страдательность» субъекта речи оказывается выражением особого рода вненаходимости, которую М. М. Бахтин называл внежизненно активной позицией. Она и дает Пушкину возможность перейти от стихийного творческого акта (создания стихотворения) к рефлексии по этому поводу, а затем к художественному воссозданию процесса творчества, т. е. открывает выход в метаповествовательный план.

С точки зрения исторической поэтики немалый интерес представляет то, что указанная субъектная предпосылка, определившая образную структуру «Осени», продемонстрирована Пушкиным на фоне поэзии Державина (благодаря эпиграфу из «Жизни Званской»: «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?» —и многочисленным перекличкам с этим стихотворением). Державин как раз вплотную подошел к рефлексии, связанной с творчеством (что породило своеобразие финала «Жизни Званской»), но не перешел рефлексивной границы. Творчество до конца осталось у него объектом рассуждений. Пушкин же подхватывает державинскую тему и довоплощает ее: он не просто описывает процесс творчества, рефлексируя над ним, а онтологизирует саму творческую рефлексию и обращает творчество само на себя, в результате чего и возникает «стихотворение стихотворения».

В соответствии с описанной субъектной структурой в «Осени» возникает двукратное разыгрывание образа. Рефлексия первого уровня делает каждый из соотнесенных образных языков — и условно-поэтический троп, и субстанциальное «простое» слово — не только изображающим, но и изображенным. В VIII строфе, где дается первый сигнал о переходе к метаповествовательному плану, мы читаем:

> И с каждой осенью я расцветаю вновь;
> . . . . . .
> Желания кипят — я снова счастлив, молод,
> Я снова жизни полн — таков мой организм
> (Извольте мне простить ненужный прозаизм).

«Простое» слово («организм») здесь прямо сталкивается с поэтизмами, условность которых обнажена, ибо они являются уже стертыми словарными метафорами («я расцветаю», «желания кипят»). Такое соседство делает данные поэтизмы уже откровенно изображенными и предлагает другой язык описания. Но и этот другой язык относителен. Ведь и «организм» имеет у Пушкина стилевое клеймо — «прозаизм», говорящее о том, что и «простое» слово стало предметом творческой рефлексии. Получается, что в «Осени» нет не только субъекта, совпадающего с собой, но нет и одного языка, внутри которого находилось бы творческое сознание: оно локализуется на границах условно-поэтического и субстанциального слова.

Рефлексия второго уровня (а точнее, онтологизация творческой рефлексии) реализуется в IX—XII строфах. Прежде всего здесь заново и уже применительно к воссозданию творческого акта проиграны основ-